

Идейное содержание *Жития*, отчасти вследствие этого изобилия добротного жизненного материала, отчасти и в силу противоречивости самого мировоззрения писателя, оказалось весьма противоречивым. В нем причудливо переплелись и идеи религиозного фанатизма, мученичества, непротивления злу — с одной стороны, и ненависть к различным церковным и светским начальникам, страстная жажда правды и справедливости на земле, боль за неурядицы на Руси и за страдания народа, идея борьбы и самопожертвования в этой борьбе — с другой стороны. Эта противоречивость идейного содержания памятника может быть правильно объяснена только с позиций марксистско-ленинской теории отражения, с позиций материалистической эстетики. Эти противоречия есть не что иное, как отражение реально существовавших в середине XVII в. противоречий в социальной практике и в мировоззрении оппозиционно настроенных к феодализму слоев русского общества, и прежде всего противоречий, свойственных народным массам, на которые и опирался раскол.<sup>15</sup> Особенная форма выражения этих объективно существовавших противоречий — религиозная оболочка социального протеста — также неизбежно отразилась на самом *Житии*, определила его специфическую жанровую природу — религиозную окрашенность бытового повествования.

Этими же обстоятельствами вызвана и своеобразная форма типизации характеров в *Житии*, в первую очередь типизации главного персонажа. В нем причудливо сочетаются черты фанатика и ригориста, проповедника и мученика с характерными признаками правдолюбца, «бойца» (А. М. Горький), «бунтаря» (А. Н. Толстой), чадолюбивого отца, заботливого супруга, снисходительного к чужим ошибкам и слабостям пастыря, влюбленного в жизнь человека. Это сложный, весь сотканный из противоречий образ. Мы видим героя *Жития* в самые различные моменты его жизни — в толпе и в кругу семьи, с друзьями и врагами, в царском дворце в Москве и у байкальских рыбаков, заключенного в тюрьме и лежащего нагим на печи, проповедующего в церкви и тянущего сани по льду Иргень-озера, бранящегося и избиваемого, вступающего в рукопашную с медведями и умиленно созерцающего природу, «травы красны и цветны и благовонны гораздо». Он то непреклонен и требователен, то отзывчив и уступчив; то суров и жесток, то нежен и растроган; то раздражителен и бранчив, то шутит и смеется; чувство юмора не изменяет ему в самые тяжелые минуты жизни, но ему знакомо и сознание трагизма своего положения; он без ложной скромности осознает героизм своего подвига, а собственные ошибки и слабости вызывают в нем жгучее чувство неудовлетворенности собой. . .

В образе Аввакума, как видим, достигнута та степень индивидуализации и многосторонности, какой не знала не только житийная литература с ее идеальным героем и шаблонами, но, пожалуй, и все другие предшествующие *Житию* литературные памятники. Индивидуализация образа трудно давалась средневековой литературе. Она стала возможной лишь в условиях русской жизни XVII в., в связи с обострившимся интересом к человеческой личности. На последнее обстоятельство в свое время обратил внимание Д. С. Лихачев: «XVII век в русской истории — век постепенного освобождения человеческой личности, разрушавшего старые средневековые представления о человеке только как о члене корпорации — цер-

<sup>15</sup> См.: Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли. — Сочинения, т. XX, М.—Л., 1925, стр. 335. Подробнее этот вопрос рассмотрен нами в статье «Житие протопопа Аввакума — произведение демократической литературы» (ТОДРЛ, т. XIV, М.—Л., 1958, стр. 380—384).